



Елена АРСЕНЬЕВА

ВЕНКИ ОБИМУРА

Елена Арсеньева

Венки Обимура

«Автор»

2019

Арсеньева Е. А.

Венки Обимура / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2019

«Он устал от ползучих сомнений, он не помнит лица своего...» Он – Изгнанник, он сослан на Землю, в Россию, на пятьсот земных лет. Любовь и ненависть к этой бестолковой, несуразной и такой прекрасной планете, к этой стране и ее людям разрывают его душу и сердце...

© Арсеньева Е. А., 2019

© Автор, 2019

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

26

Елена Арсеньева Венки Обимура

*Он устал от ползучих сомнений,
Он не помнит родства своего,
И несутся светила и тени
Перед оком недвижным его.*

Ю. Кузнецов

*Когда на склоне лет угаснет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необоримый мир туманных превращений.
Когда миллионы новых поколений
Наполнят этот мир сверкающих чудес
И довершат строение природы.
Пусть мой бедный прах покроют чьи воды,
Пусть приютит меня зеленый этот лес.*

Н. Заболоцкий

...О светлый, пресветлый Обимур! Солнце ли жжет твои глубокие воды, тонут ли в волнах твоих тяжелые облака, ночь ли черная ревниво прячет тебя от взоров, таишься ли ты во льдах и снегах зимних сумерек, ветер ли осенний гонит стада твоих крутобоких валов к далекому северному морю – всегда прекрасен ты, всегда неуязвима краса твоя. И широк ты, и величав, и просторен. Есть ли сердце, что не дрогнет при виде просторов твоих?..

Опальный черноризец Иннокентий (в миру Ивашка Краснощеков), наказанный месячным постом и заточением в своей келье за написание богопротивных стихов в опорочение Вознесеньева дня, стоял, пошатываясь от слабости, у окошка и глядел в синие небесные очи, столь схожие с ласковыми очами Наташки, дочери Савватия, гончара из Семижоновки. Это ведь ее, Наташкины, тугие щеки и прельстительную походку изобразил он ненароком вместо легкой поступи Богородицы:

*Блистая жаркими очами,
Плечьми округлыми вода,
Ступала дева из тумана –
И содрогалась земля...*

Отец Спиридон, игумен, не допустил, чтобы скромные словеса оскорбили слух благочестивой братии. Провозгласив Иннокентия глумцом и кошунником, наложил отец на недостойного епитимью, с чего и мается Иннокентий, лишь взором прикасаясь к пище земной и небесной...

Белое облако, похожее на пышный пшеничный хлеб, кое мирно покоилось на просторе небес, внезапно возросло в размерах своих. Светом ударило по глазам.

Иннокентий вцепился в оконницу. «Что деется, Господи всеблагий!» – шептал он онемевшими губами, но от окошка шагу не отшагнул, диво дивное наблюдал все, от начала и до конца. После того, однако, не пал под иконы, как полагалось бы благочестивому иноку после

лицезрения знамени Божия, а извлек из-под топчана свиток берестяной (письменных принадлежностей в наказание за богомерзкие строки лишен был); бутыл с самодельными чернилами из «орешков», что нарастают на листьях дуба (этими «чернилами» люди сведущие пользуют при ожогах); вынул из-за иконы Егория Страстотерпца, покровителя монастыря, затупившееся и обтрепанное гусиное перо и, пристроившись прямо на полу, торопливо нацарапал:

«1738 года июнь в 24-й день было тихо, и в небе все чисто, когда явилось небывалое зрелище над Обимурским монастырем и лежащий в семи верстах от одного деревней Семижонок. Учинился на небе великий шум, и явилось странное знамение, коего никогда и не видавали. Из белого облака явилась будто бы звезда великая и, как молния, быстро прокатилась по небу, раздвоив его. Сперва в облаке стало шуметь, и пошел дым, и загремело, как гром или как великий и страшный голос; и долго гремело, так что земля и хоромы тряслись. И вышел из облака великий огонь и протянулся по небу, как змей, голова в огне и хвост, и пошел на Обимур-реку...»

* * *

В избу Митрея Дубова зачастили соседки: на навиды прибежали. Иная одарит родильницу пирогом с морковкой, иная – новошитой рубахой с затейливым узором по вороту, иная младенцу деревянного медведя подарит или дудку. Наташка, дочь Савватия-гончара, новых глиняных горшков принесла подружке, которая лишь на прошлую Красную горку повенчалась.

Да, Нениле грех жаловаться на долю, а что Наташкино сердце присохло к черноряснику, на то оно и сердце девичье, чтоб без толку присыхать да кручиниться... И то сказать, разве ж это беда? Беда – вон она... Наташка покосилась в окошко, на заколоченную избу в соседнем порядке. А ведь и там могли совсем недавно, в том же марте-позимнике, крестины праздновать, младенцу желать счастья... Да ведь кому счастье мать, кому мачеха, кому – бешеный волк!

Ненила, приподнявшись, тоже старалась поглядеть в оконце. Зевнула сладко. Недолго ей нежиться: завтра же привычные хлопоты начнутся. Она бы и нынче уже колготилась, когда бы не велся на белом свете обычай: класть на зубок новорожденному непременно под материну подушку. Вылеживайся, бабонька, куда нужда не согнала!

– Ох, сиротинушка наша, Степушка... – проронила Наталья.

– А не входи во грех! – сурово свела брови молодая мать. – С иным и в сыру землю провалишься!

– Жалко, Ненилушка, подружки! Разве ее вина, что полунощник напущен? Вольно Никифору в отхожий промысел подаваться было, да столь надолго? Сказывала Степушка, нью ретивое об нем: «На печи широкой одной тесно, мечусь, как на горячих угольях...»

– Вона! Дометалась! – прыснула Ненила. – Вспомни, Наташка, о прошлый год, на Купалу, видение небесное было. Думали-гадали, куда это дым-огонь посередь Семижонок подевался, неужто в сырую землю вошел? Ан нет, вон куда – к Степаниде. И не простой огонь то был – Змей Огненный! У него голова шаром, спина корытом, хвост предлинный, сажений в пять. Кого приласкала-то Степка?! – Ненила перекрестилась. – Тьфу!

Наталья отошла от окна, села на лавку.

– А коли явился – разве от него, лиходея, уберешься? – робко спросила она.

– Стало быть, поважала она его. А поваженный – что наряженный: отбою не бывает. Хотела – убереглась бы. Насыпать на заветку собранного крещенским вечером снегу – и не сунется нечисть.

– Какой же снег на Купалу? – вскинула круглые брови Наташка.

– Припрет – так сыщешь и летом крещенского снегу. Бабы-лечейки в округе есть, у них, поди, сберегается в глубоких кувшинах, в стылых погребах. А коль снегу нету, помогают и кресты, на дверях-окнах начертанные, – тараторила Ненила.

Наталья задумчиво тронула зыбку, где сладко спал младенец. Ее черная коса раскудрявилась, щеки заалели.

– А сказывают, – несмело молвила она, – будто Змей не в своем обличье является. Будто может он обернуться милым, желанным. Где ж тут беречься, где противиться?

Она стиснула руки у сердца, но под Ненилиной усмешкой потупилась.

– Все об Ивашке томишься? Иль как там его нонешнее прозвание? Иннокентий? Тоже, нашла себе присуху... Замуж тебе, девка, пора! – качала головой Ненила. – Гляди, почует ворог летучий твою печаль-тоску – доведет до худобы, до сухоты, до погибели. И не вступайся ты, Христа ради, за Степаниду: которая баба совестливая да стыдливая, та прежде у людей совета спросит, а они укажут, как узнать, кто по ночам приходит: настоящий ли муж или сам нечистый. Дело нехитрое, мне и то ведомо. Как за стол его посадишь, станешь потчевать, так притворись, будто ложку обронила, да наклонись, погляди: не копытами ноги? Не метет ли по полу хвост? И Степанида об этой премудрости слыхивала – постарше нас, чай! Ан не схотела чары порушить – вот и получай от мужа ременной плеточкой по белым плечам, вот и рожай не сыночка аль дочечку, а черную кикимору!

– Откуда знают, что кикимору-таки родила Степушка?

– Ах ты неверуца! – всплеснула руками Ненила. – Кикимора, как есть кикимора! Ерема-знахарь сказывал: тонешенька, чернешенька, тулово что соломина, голова малым-маленька, с наперсточек! Ни с кем она, проклятая, не родится, одна у нее радость: все губить, все крушить, на зло идти, мир крещеный мутить.

Наташка так и задрожала. На счастье, в избу ввалился Митрей – муж Ненилы: дюжий, ражий мужик. В дверь повеяло пролетьем, талым снегом... Наташка схватила душегрейку, шалюшку да будто за делом – прочь.

Не удержалась, однако: ноги сами понесли к заколоченной избе.

Вспомнила, как на Герасима-грачевника деревенский знахарь Ерема, черный да вертлявый мужичок, изгонял из дому Степаниды и Никифора кикимору. Обычай велел хозяевам в такую чародейную ночь уходить из избы, чтобы знахарь сам мог справиться с поганой гостейкой, но ушел один Никифор, а Степанида осталась, потому что не столько избу, сколько грешное бабье чрево облюбовала нечисть. Наташка словно бы видела, как подруженька ее, обхватив свой тяжелый, проклятый живот, неподвижно сидела в бабьем куту, у волокового оконца, за которым сгущалась ночь, а знахарь проворно обметал углы, выгребал мусор из-под печки, сжигал его, сновал туда-сюда и все приговаривал, приговаривал обаянные слова, пока не закричала Степанида дурным голосом, не повалилась навзничь...

Крик родильницы звенел над деревней, а Ерема бормотал:

– От силы нечистой зародилось во чреве сие детище, проклинали его отец с матерью еще до рождения, кляли-бранили клятвой великою: не жить бы ему на белом свете, не быть бы ему в обличье человека, гореть бы ему век в смоле кипучей, в огне неугасимом! Унеси, нечистая сила, дите свое из утробы матери за тридевять земель, нареки его там кикиморой, отдай на возвращение кудеснику в горы каменные. Расти ему там в холе-неге на беду всему роду человеческому, научиться премудростям, лютому волшебству всякому!..

Так оно, знала Наталья, и вышло. Родила Степанида незнамо кого, положили того клятого младенчика в корзинку, тряпицей принакрыли, унесли от обеспамятевшей матери, да не в каменные горы – не было гор окрест Семижоновки, – а в дремучий лес, в чашу темную, поставили ту корзинку на крылечко избушки, где жил старый кудесник, колдун лесной. Сказывали, черную науку он знал, душеньку свою в недоброе место продал!

А чуть оклемалась Степанида, посадил ее Никифор на телегу, нагруженную скарбом, избу заколотил и подался от позора в края далекие. Облила Степанида слезами дорогу, да что: суров мужик, терпи, баба!

«Все губить, все крушить, на зло идти...» – вспомнилось Наташке. Уткнула она лицо в шалюшку и бегом от заколоченной избы.

Чур меня, чур!

* * *

Ты запой, ты запой, жавороночек,
Жавороночек ты, весенний гость,
Про тоё-ли про теплую сторонушку,
Про тоё-ли про земли про заморские,
Заморские земли чужедальние,
Где заря с зоренькой сходится,
Где красно солнышко не закатается,
Где тепла вовек не отбавляется!..

Летела ребячья веснянка над Семижоновкой, долетела она и до лесу дремучего.

Мартовское солнце посылало скупые лучи сквозь ветви огромной липы на крыльцо и крышу почерневшей, замшелой избышки. Только малая прогалина перед дверью была чиста от зарослей, а к стенам вплотную подступали деревья. Перед самой избой торчал широкий осиновый пень, в который был воткнут нож.

Тонкий луч солнца медленно сполз с кровли и лег на узкие плечи беловолосого, синеглазого отрока. Он сидел на крылечке, нетерпеливо высвобождая ноги из небольшой ивовой корзинки. Отбросив наконец плетенку, он обхватил худыми руками колени, скорчился, чтобы хоть немного согреться, и тихо, словно бы бессознательно, пробормотал:

Ты пропой-ка, пропой, пташка малая,
Пташка малая, голосистая,
Про житье про нездешнее...

Его острые лопатки торчали, словно маленькие белые крылышки, а зубы иногда пускались в перестук.

За деревьями слышались диковинные звуки. Не то пел кто-то без слов, не то свистал, не то аукал, хохотал иль плакал, гукал по-птичьи, шипел по-змеиному, бил в ладоши, топотал, хрустя валежником. Вот ближние заросли расступились, на поляну выскочил чудного вида человек. Голова клином, борода лопатой, грива набок зачесана, старый кафтанишко навыворот надет, застегнут криво. Сам из себя – словно коряжина, в человекье платье наряжена. Притопывая, приплясывая, обошел избышку, не сводя глаз с парнишки, замершего на крыльце, да и пропел-проскрипел:

Красная девица во лугах гуляла,
Во лесах бродила – сына породила.
Она гнула люльку, что с дуба корку,
А пеленки рвала, что с клену листья,
А свивальник драла, что с липы лыко!

Сел с краешку пенька, поковырял лапоток, а потом закивал приветливо:
– Здоров будь, дубовик-кленовик-липовичок-березовичок!

– Сам липовичок! – огрызнулся парнишка застуженным баском. – Дал бы лучше одеться! Зазяб я, не видишь?

Мужичок потянул было с плеч кафтанишко, но вдруг сунул корявые пальцы в рот и так свистнул, что зашумели прошлогодним ржавым листом дубы, а с липы свалился сук, устоявший и против зимних бурь.

Серой тенью вымахнул на поляну огромный филин, и пареньку почудилось, будто он крыльями выгнал из кустов еще одного мужика, одетого не в пример первому, только вот с ошалелым от страха лицом.

– Чеснок, чеснок! – выкрикивал он. – Шел, нашел, потерял! Изыди, хитник лукавый!

Парнишка при звуке этого голоса так и вздрогнул.

– Не бойсь, Ерема! – хмыкнул корявенький. – Не трону, так и быть. Чего тебе надобно? Михаилу ищешь? Нету его.

– Знаю, знаю, – трясся Ерема. – Я корзинку тут... корзиночку забыл. В ней кикиморка была, а на что кикиморке корзиночка? И так ладно будет!

Увидев у крыльца опрокинутую плетенку, он подхватил ее и ошеломленно выговорил:

– А где ж кикиморка?

Корявый зашелся в хохоте. Загудел лес, ветки о ветки ударились.

– Бесоугодники, – пробормотал Ерема. – Чтоб вам изо лба глаза выворотило на затылок! Чтоб вам!..

Филин, который сидел себе тихо да недвижно на плече у корявенького, вдруг как заплещет толстыми крылами, как заухает!

– Белый Волк идет, – таинственно молвил мужик-коряжина. – Уноси, Ерема, ноги, пока жив. Другим разом приходи.

– Бес, бес играет вами на пагубу вам, – твердил Ерема, кидая ненавидящие взоры по сторонам. – Чародеи проклятушие! – И ломанул в чашу.

– Ерема... – медленно выговорил отрок. – Знахарь. Я его голос вспомнил. Он меня изгонял-заговаривал.

– Тебя?! – Корявенький лик еще больше искажился от изумления. – Так это ты, что ль, кикиморка?!

Парнишка ответить не успел, потому что в этот миг словно ветер повеял из чащобы – и явился перед избушкой белый волк.

Крупный, поджарый, уши торчком! Замер, горделиво вскинув голову.

Отрок неотрывно смотрел в желтые лютые глаза, но смотрел без страха, то ли не ведая повадок дикого зверья, то ли чуя, что волк не простой... Меж тем корявый склонился к острому уху, что-то лопотал, взглядывая на парнишку зелеными глазами. Суетился, поухивал филин. Волк, чудилось, слушал... Внезапно он издал короткий властный рык, перекинулся через пень, в который был воткнут нож, – и на поляне возник человек.

Был он высок ростом – чуть ли не вдвое выше своего косматого дружка. Суров ликом – прямые низкие брови над хищным носом; тонкие губы прячутся в длинных полуседых усах. Да и голова его, и борода были сивы, не отличишь от овчин старого полушубка. Филин перепорхнул на его плечо – и словно бы иной птицей обернулся: поводил головой, щурился, что твой ястреб!

– Ну, будь здоров, подкидыш! – мощным голосом проговорил седовласый. – Что ж рогожку не дали прикрыться тебе? Весна-то весна, а март морозцем на нос садится. Ты же наг, словно на Егорья вешнего по росе кататься намерился. Разом лихоманка привяжется!

Он сорвал с плеч тулупчик и укутал отрока.

Тот растерянно молчал.

– Со страху, что ль, речи лишился? – усмехнулся седовласый. – А ты не пугайся. Это вот приятель мой, Леший, Лешакович по батюшке. Филин – гонец мой. Мудреная птица! До

совушки-вдовушки, Ульяны Степановны, далеко ему, однако страж надежный, часовой чуткий. Ну а я Михаила, Афанасьев сын, Антонов внук. Дальше прадедов своих не ведаю. Поди тоже, как я, по чащобам скитались, злобу людскую размыкали, от наветов таились, с волками водились. Ну что ж, хранит Господь и дикого зверя... Молви теперь про себя словечушко.

Парнишка смотрел на Михаилу, и глаза его горели тоской.

– Не тумань чела, отрок, – тихо сказал седовласый. – И змея своих змеят не ест, а тебя, вишь, батька с мамкой отринули... Наслышан, наслышан! – отмахнулся он от удивленного взора. – Мышка нашуршала, лозинка прошелестела. Ох, боится народишко дива дивного, чуда чудного! А невдомек ему, что дитяtko – словно тесто, как замесил, так и выросло, породил сына хоть пахарь, хоть боярин, хоть и Змей поднебесный.

Парнишка понял, что этот человек знает о нем многое – даже больше, чем он сам, наверное!

– Не по дням, вижу, возрос ты, а по часам! – Михаила положил на его плечо руку. – Как же нарекли тебя? Ох, что же это я, разве поп кикимору крестить станет? Да ведь мы и сами с усами, еще вон с какими длинными! Слышь-ко, Лешенька, – оборотился он к мужи-чонке-коряженьке. – Каким именем наречем отрока?

Леший что-то невнятно прогукал. Филин зажмурил глаз, недовольно нахохлился.

– Ну куда ему по свету с такой кличкой туряться? – развел руками Михаила. – Сам посуды: рожден в образе кикиморы, колдуном взращен, да еще и прозвание богомерзкое... Нет, брат Лешенька. Какое слово первое на язык пришло, когда я его увидел? Юрия-Егория вешнего помянул? Ну так и быть ему Егорием. А прозывать станем... Белым! Глянь, бел он да светел, словно подснежный цвет.

Филин вновь перепорхнул на плечо Лешего.

– Ну, прощевайте, дружечки мои! – поклонился им Михаил. – Скоро закатится зимушка в свои страны холодные, весне дорогу даст – и пойдем по лесам по полям травушке кланяться. Егория обучим нашим премудростям. Как думаете, впрок пойдет наука?

Леший закивал усердно, потом отдал Михаиле поклон – и как не бывало ни его, ни филина. Прынул с места иссохший липовый листок, а под ним оказался тугой завиток молодой травинки.

* * *

*Из приказа по Управлению космического надзора Делаварии.
Дело о строительстве завода шестинол-фола-вадмие-вой кислоты.*

*...За халатность, приведшую к пространственно-временному
искажению, нарушению условий содержания в ссылке Изгнанника № 1,
Куратор № 1 лишается права связи с объектом наблюдения и вмешательства
в его судьбу вплоть до особого распоряжения...
Старший инспектор надзора Ар К.Б.О.С. Труга*

* * *

Солнышко-ведрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор-горы!
Выгляни, солнышко,

До вешней поры!
Видело ль, ведрышко,
Красную весну?
Встретило ль, ясное,
Ты свою сестру?..

А не сама ли Весна, солнцева сестра, по лесу легкой поступью идет?.. Нет, не дева то сказочная, а белая да румяная дочь крестьянская. Но не теплы ей лучи солнца жаркого, не веснянка ей поется – горькая слезонька льется...

Сердце пахаря по весне об урожае болит, радельная хозяйка первого выгона скотины в поле ждет не дождется, а сердце иную заботу знает. Где слабому скрепиться, когда оковы ледяные от взора солнцевой сестры тают!

Долго девица по лесу блуждала, пока не набрела на покосившуюся избешку. Долго хорошилась в кустах, пока не решилась взойти на крылечко. Долго стояла под дверью, пока не осмелилась ее толкнуть.

Вот и он, колдун! Сама к нему дорогу сыскала, а лишь увидела – обмерла. Только и могла девица, что слезами залиться.

– Вижу, что не с большой радости ты ко мне наведалась, – молвил колдун. – Как зовут тебя?

– Наталья.

– А как же молодца того зовут, по ком сердце твое болит?

– Иваном...

– Неужто он тебя, такую пригожую, нелюбовью мучает? Коли так – каменное у него сердце да стеклянные глаза.

– Ах нет! – вскинулась Наталья – куда и слезы девались. – Любил он меня, доподлинно любил! Голубенькой называл, ясонькой, солнечным лучиком! – шептала она жаркие слова и сама горела вся. – Разлучили нас не смотницы-наговорщицы, не змея-соперница. Вот уже два года одет Иванушка в ризу черную, наречен Иннокентием. Вот уже два года я горе мыкаю, перестарком стала, а и смотреть на других не могу – только Иванушка, свет-надежа, во сне снится, наяву мнится.

Тяжелый да горький вздох пронесся по избушке. Зашелестели сухие травы под потолком.

– Экая разлучница у тебя, девонька, – сама Божья Матерь. Экий лихоимец – сам Господь Бог. Не страшно с ними в спор вступать?

Показалось Наталье, что от этих слов еще темнее в избушке сделалось. Она только сейчас поняла, чего ж добивается-то! И вспомнила, почему все-таки решилась прийти к колдуну, больше которого боялась разве что смерти.

Измаялось сердце девичье, извелась Наталья – и не сдержала тоски, поклонилась деревенскому знахарю Ереме, мужику бойкому и на слово скорому. Молила его Наталья помочь друга милого вернуть. Узелок принесла, куда тайком от отца положила новый хлеб да беленого холста. Жил Ерема тем, что деревенский люд давал за травы-коренья, за вещей причет от притки, призора, иного лиха. Семижоновка деревня не малая, да и окрест знавали про Ерему. Он не бедствовал! Принял и Натальины подношения.

– Ну, касатка, – молвил сладко, – чем горю помочь? Приворотных зелий множество! Иль ворожба тебе милее? Хошь – на зеркало, на соль, на хлеб, на мыло заговор скажу? «Сколь скоро мыло к лицу льнет, столь бы скоро молодец девицу полюбил!»

– Да крепким ли такое слово будет? – усомнилась Наталья.

– Крепкое слово – оно и ценится крепче, – уклончиво ответил Ерема.

– Сережки с самоцветами, запястья серебряные – не пожалею! – посулила Наталья. Ох, раздобывчиво, разгарчиво сердце девичье!

Ерема довольно улыбнулся:

– Змеиные чары крепкий приворот дают.

– Змеиные?! – перепугалась Наталья.

– А то! Разыщи перво-наперво гадюку, голову ее прижми к земле рогулькой, продень сквозь злобные глаза иголку с ниткой да не забудь при этом молвить таковы слова: «Змея, змея! Как тебе жалко своих глаз, так чтоб имярек меня жалел и любил!» Ну а как домой воротишься, поскорее кафтан или какое другое платье доброго молодца той иглой прошей, само собой, втайне от всех – и любовь приворожена навеки!

– Боюсь я змей, дяденька, – призналась Наталья. – Из куста шипуля, за ногу тяпуля! Да и жалко ее...

– Эка ты! – надулся Ерема. – Ну ладно. Хошь, научу, как корень Симтарин-травы добыть?

– А верное ли средство?

– Верней не сыскать! У Симтарина первый лист синь, второй багров, третий желт, а четвертый червлен. Вся сила травы в том, что под корнем у нее человек. Человека надобно взять, разрезать ему грудь, вынуть сердце. Если кому дать сердце того человека – иссохнет по тебе!

Думал Ерема, в ноги ему девка за такой совет кинется, а она, неразумная, побелела вся – да и прочь из избы.

Ишь, привередливая! Чтобы не обидеть никого да еще и выгоду свою взять – такое только в сказках бывает!

А Наталья бежала – слезы лила. Ведь к Ереме люди не от радости – от беды идут, а у него, стало быть, про те беды душа не болит, коли он даже сердечную маяту норовит через злодейство исцелить. Нет, не нужна Наталье такая лечьба – невинной кровью, живой болью! Люди говорят, добр Ерема, – что ж он зло творит? Может статься, тот, кого лиходем прозвали, про добрые снадобья ведает? Кто их разберет, ворожбитов, злые они или добрые. На то они и знахари, чтоб их никто не понимал!

И вот волховит-зелейщик, колдун лесной, пред Натальей. Смотрит с печалью, да слова его еще печальнее:

– Мыслимое ли дело, девица, небесную любовь в сердце побороть, на земную ее сменять? Коли стал твой мил друг на ту стезю, не свернуть его.

Наталья пуще прежнего заплакала:

– Ох, не надобна ему та стезя! Нет в его сердце небесной любви! Батюшкин обет он исполнил. Тяжко захворал родитель его, а как в глаза смертушка глянула, так посулился, коли жив останется. Богу сына младшего отдать. А младший-то...

– Вон что! – Колдун погладил девицу по голове. – Дитячко ты мое горькое, бесталанное! Никакое приворотное зелье тебе не надобно. Такая потребна трава, чтоб клятвы разрешала, обеты снимала. Посуди сама – кабы твой Иванушка мог, давно бы из монастыря к тебе вырвался. Но как ему такой грех взять на душу? Как батюшку на бесчестье обречь? Доброе сердце у него, доброе – да чересчур мягкое.

Пала Наталья на колени:

– Помилосердствуй, дай тогда отсушки какой ни есть, отврати меня от этой сухоты! Правдиво твое слово, а от него пуще прежнего сердце болит, в Обимур броситься впору!

Поднял ее колдун:

– Не плачь, милая. Нету у меня нынче такой травы. Приходи после Иванова дня, помогу твоему горю, освобожу душеньку-страдалицу. Теперь же ступай домой. Не то к Ульяне сходи, ворожейке, что у истока Обимура живет. А меня прости...

Девушка как во сне пошла из избы, и долго, долго бродила меж стен тишина. Уже когда темноту к себе в гости позвала, вымолвил Ми-хайла:

– Засвети лучинку, Егорушка.

Слабый огонек задрожал в светце. Что-то трещит лучина, дрожит и мечет искры – не к дождю, не к ненастью ли?

– Ох, тяжело мне, сынок! – простонал колдун. – В кои-то веки человек с добром ко мне пришел, а я отпустил его горе мыкати.

– Что ж ты не дал ей какой-нибудь отсушки, батюшка?

– Молод еще ты, Егор, сердце у тебя неученое. Я-то с травами множество лет дружен. Каждой голос слышу, каждой взор ловлю. Верю я в их силу чудодейную, как в свой зрак, однако знаю: никакой травой из сердца не вынешь – и в сердце не вложишь. Нет таких трав, чтоб изменить чужой нрав! И судьбы не изменишь, Егорушка. Знаешь, как народ судил: кто с дерева убился? – бортник; кто утонул? – рыболов; в поле лежит – служивый человек... У каждого, стало быть, своя дорога на земле, своя звезда в небе.

– Звезда! – эхом откликнулся Егор, и в это время на крылечке вновь зазвучали осторожные шаги. Не успел он спросить колдуна, кто же такая Ульяна, хотя собирался.

– Что это нынче к нам, словно в храм Божий, народ повалил? – воскликнул Михаила.

Егор тоже дивился: да уж, сколько живет он здесь, никого, кроме филина, да волков, да Лешего, окрест не видывал, а тут сразу два гостя рода человеческого! Он знал, что люд посольский полагал Михаилу злым колдуном и боялся его так, что лишь самая крайняя беда могла привести к нему. Егор и сам, коли насмелился, попросил бы у Михайлы какого ни на есть зелья, чтобы память свою пробудить. Кикиморка или нет, а он растет и впрямь не по дням, а по часам, за месяц вымахал что твой двадцатилетний, и чем больше становится, тем сильнее болит головушка, туманит тоска по чему-то давно и накрепко забытому...

Забыто, а крушит сердце!

Между тем колдун зажег еще лучину, в избе посветлело, и Егор замер в своем углу. В дверях показался невысокого роста мужичок, худой, чернявый, с быстрыми, блестящими глазами.

Знахарь Ерема!

Колдун молча смотрел на него, но Егор чуял, что они с хозяином испытывают равное обращение к гостю.

– Здоров будь, Михаила! – заискивающе молвил Ерема и невольно вздрогнул при виде Егора: – Жилец у тебя поселился?

– Родня, – буркнул колдун. – Ты поди думал, один волк лесной мне сродник, ан нет.

– Ладный молодец! А где же кикиморка?

При этих словах гость быстро перекрестился.

– Сгнула кикиморка. Нету ее. – развел руками колдун.

– Как так сгнула? – растерялся быстроглазый. – Почему? Я же сам ее тебе принес!

– Надо было себе и оставить, коли так надобна. Ну, говори, зачем пришел?

Ерема протянул хозяину узелок:

– Прими хлебушка свежего, холста беленого.

– За что платишь? Аль от щедростей душевных решил поддержать живота моего? – насмешливо спросил Михаила.

– За помощью пришел, – послышался смиренный шепоток.

– Ну?..

– Скоро Купала.

– Поболе месяца еще до того дня.

– Чья пташка раньше проснулась, та и корму скорее нашла. Нижайшая к тебе просьба: как пойдешь в Иванову ночь травы брать, меня с собой взял бы!

– Иль сам не учен? Слышал, пользуешь хворости зельями.

– У всякой пташки свои замашки. Да и не в лечьбе дело. Вот скажу тебе, что со мной о прошлый год приключилось, в некоторое время после того, как видение огненное над Семи-жоновкой пронеслось.

Егор прислушался.

– В ту ночь, купальскую, очарованную, пошел я в лес...

– А, царь-цвет покою не давал? – перебил колдун.

– Пошто насмехаешься? Сам на Купалу по лесу шастаешь! Иль тебе злат-цвет папоротника ни к чему?

– На Купалу всякий цвет – злат, надо лишь смотреть да брать умеючи.

– То-то и оно, – не поперечился Ерема. – За наукой и пришел. Однако слушай далее... На того на Купалу взял я Евангелие, взял ряднику и пришел в лес, на полянку, где раньше кочедыжник¹ приглядел. Три круга очертил возле него, разостлал свою ряднику – и ну молитвы читать! Тут и полночь. Гляжу – из неба луч синь ударил. Все блестит, все гремит, громовой голос на чужом языке вещает... Не до папоротника, страх лютый обуял! Схватился – да прочь. Бежал, бежал, вдруг слышу: догоняет меня кто-то. Оглянулся: не то мужик, не то баба во всем сером летит прямо на меня, будто огромная сова! Налетело – и повалился я без памяти. Очу-хался – нет ничего.

Сердце Егора отчего-то вдруг неистово заколотилось. Словно бы вспомнил он что-то... или зазвучал далёко голос родной... Нет. Почудилось.

– Иль не знал, Ерема, что нельзя оглядываться в такую ночь? – хмыкнул колдун.

– Знал, да страх одолел! Вот почему и прошу тебя на сей раз подмогу оказать. Тебе былие травяное послушно, тебе зачуранья против нездешней силы ведомы.

– С чего взял? – резко спросил колдун.

– Не горюй, Михаила, не выдам я тебя. Ни словечка не вымолвлю, что оборотень ты, волкодлак, что дружен с лешим, что кикиморку, порождение Змея Огненного, ты прикормил-взрастил...

И он прожег взглядом угол, где таился Егор.

– Следил, значит? – пуще прежнего нахмурился колдун.

– А что делать? – развел руками Ерема.

– Как же я тебя не приметил? Как товарищи мои верные твоего духу не учуяли?

– Мертвой рукой и не таких обведешь!

– Не тошно ли с мертвечиной возиться, жир вонючий топить, свечи из него лить? – глухо спросил колдун.

– Смекаю, что в том котле, где смола с отваром злых трав перемешана, тошнее того кипеть будет, – загадочно ответил знахарь.

Колдун еще ниже наклонил голову:

– Ведьмак ты, Ерема. Меня лиходеем народ кличет, ан нет: из нас двоих ты лиходейнее.

– Сам же сказывал, что я от хворей-болестей пользую, стало быть, добро несу.

– Руки твои нечистые – и добро твое грязное.

– А болящему не все едино?

– Ну, в тот миг, когда лихоманка его бьет, может, и едино. А душа-то его твоим злом уже отравлена. Слаб человек, не ведает, что слабость его не в добро, а в зло уводит.

– По-твоему, помереть лучше, чем от меня исцеление принять? – Черные глаза Еремы вспыхнули лукавым огнем. – Ты это человеку скажи... А мне помоги жар-цвет взять!

– Жар-цвет! – повторил колдун, и Егору почудилось, будто голос его засиял, засветился золотисто. – В глухую полночь на кусте папоротника покажется цветочная почка. То мерцает она, словно дальняя звезда, то колышется, будто речная волна ее баюкает, то резвой пташ-

¹ Папоротник (*старш.*).

кой прыгает. Берегут свою дорогую траву лесные чудодеи от взора человеческого. Она силу дает видеть и под землей, и под водой, и в заоблачных высях, и в глубинах человеческих душ; с цветом тем в руках невидимкой сделаться можно, клады сокровенные увидеть: коли есть клад, засверкает цветок и упадет прямо на сокровища...

Ерема так и взвыл от жадности и нетерпения.

– Одна беда, – тихо, словно во сне, продолжал колдун. – Неразборчив цветок златоогненный. В чьи бы руки ни попал, всякому власть дает над миром чудес. Посуди сам, Ерема, могу ли я в твои руки царь-цвет передать? Душа твоя мне темна. Я ведь и сам золотой цветок не беру, хоть, может, властен над нечистью, и доверчива она ко мне.

– Ну и глупец! – взвизгнул Ерема.

От визга его задрожала лучина, и тени загуляли-заиграли на потолке. Кругом пошла голова Егора, качнулся он, пал спиной на стену...

Смешалась игра огней и света! Одеда Ерему и Михаилу одеждами невиданными, и еще кто-то оказался с ними, да не в избушке неказистой, а в палатах каменных. Сияли кое-где светильники по стенам, звучал непонятный, рвущий душу разговор...

... – Выбросить вон мусор! Ишь сколь бумаги! Кричал – неизвестный Егору крепкий, кряжистый мужик.

– Не иначе ты в Ильинскую пятницу рожден, – сурово ответил Михаила... Но Михаила ли был этот старец в черном одеянии? – Здесь сокровища слова русского древнего. Сколь бы ни старались ты и «брат» твой, – он с презрением кивнул на преображенного Ерему, – не истоптать вам души в русском человеке!

– Ну это мы еще посмотрим, – проронил Ерема, а незнакомец выхватил какое-то оружие и ударил огнем в потолок.

Сверху, где неясно светилось чье-то лицо, посыпалась пыль.

– Кто плюнет на небо, тому плевков на лицо падет, – молвил старец и воздел руки, словно призывая проклятие, но тут же их смиренно опустил, и жалостью зажглись его очи.

– Опять смерти ищешь, старый колдун? – тихо спросил похожий на Ерему.

– Жив Бог – жива душа моя, – спокойно ответил старец. – Каждому свой путь на земле, да и смерть у каждого своя.

Тут посветлело в глазах Егора, пропал морок, расслышал он крик знахаря, увидел прежнюю избушку. Все по-старому.

– Коли так – пеняй на себя! – неистовствовал Ерема. – Всем расскажу про дела твои темные! Слышал, слышал, как сулил ты девке, что отведешь от Господа помыслы инока смиренного, на богопротивное дело ее наущал. Поведаю, за что Господь с небес сверзил тебя – про все поведаю!

– В мой дом пришел да меня же и оговариваешь? – распрямил плечи колдун. – Да пошел бы ты вон, гость незванный-непрощеный!

– Никуда не пойду, покуда слова не дашь помочь жар-цвет добыть! – топал ногами, тряс головой Ерема. – Слышишь?

– Спроси у ветра совета – не будет ли ответа? – глумливо молвил колдун. Сложил он у губ ладони ковшиком и гулко гукнул.

Захрустело, застучало, затопало у крыльца – и в дверях показался Леший. Глянул на Михаила и, словно приказание услышал, схватил поперек тулова отчаянно взвизгнувшего Ерему, взвалил на плечи да и прочь.

Колдун крикнул вдогонку:

– До самой избы доставь, там и оставь!

Не скоро стихли крики да вопли смертельно перепуганного знахаря.

* * *

*Управление космического надзора Делаварии
По делу о строительстве завода ш-ф-в кислоты
Ст. инспектору Труге*

*Уважаемый К.Б.О.С!
Обращаю Ваше внимание на то, что положение Изгнанника № 1 без
инструктажа становится все более сложным.*

*Прошу разрешить выход на связь, прошу о снисхождении не к себе,
а к несчастному ссыльному, наказание которому определено и без того
достаточно тяжелое.*

С почтением – Куратор № 1

* * *

Вызвездило, да так ясно, так чисто! Егор ловил взором звездные переглядки, а рядом с ним на крыльчке, сидел Михаила и тихо сказывал:

– Есть на свете Чигир-звезда. Вон виднеется. Утром, с зарей, расцветет она зеленым светом и будет сиять, пока не взойдет солнце. Она человеку и счастье и несчастье сулит. А вон, ковшом, Стожары. Утиное гнездо, Кичаги, Железное кольцо, Становище²... Воистину, поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогатый. Рожа-ницы, звезды, всё – и жизнь, и смерть видите вы! Смотрю я на вас, и уплывает от меня душа! Душа моя, стань звездой, светись вечно!..

Егор сцепил зубы, чтобы сдержать невольный стон. Звезды, о звезды! Круговорот молчания, омут! Что страшнее вас, глаза неба, что прекрасней вас?! Не раз глядел он в ночное небо, но чудилось, прежде видел совсем иные узоры созвездий... И, болея от забытого, всхлипнул, но тут же услышал тихий вой. Начавшись приглушенным плачем, он вздымался к небу, отражаясь от белого зеркала подлунного Обимура, растворялся в лесной черноте и снова приникал к земле.

Егор повернулся. Михаила, расправив плечи, напрягая шею, воздел лицо к небесам и выль по-волчьи, будто пел немой, будто пил умерший от жажды.

Чуя холод меж лопаток, Егор тронул его за плечо.

Михаила сник, умолк – и словно бы ночь померкла.

Заговорил тихо-тихо:

– Ну а теперь слушай, что расскажу тебе. Давным-давно жил на свете травознай. С малолетства прислушивался он к шепоту трав и говору листьев. Целые дни бродил по полям лесам и лугам, внимая голосам Матери-сырой земли. Все ее тайны были явны ему, стал он всеведущим волховитом-зелейщиком. Весть о его силе быстрее ветра пролетела по Руси, съезжались к нему болящие, и никому не было отказа в совете. И всегда шла рядом с ним удача, потому что пускал он в дело лишь добрые травы, созданные на пользу страждущему люду. Дошла молва о нем и до врага рода человеческого. Взяла того зависть, стал он напускать по ветру злые слова, нашептывать черные желания, навевать страшные мысли доброму травознаю. «В твоих руках могущество, какого нет ни у кого на свете, – вел он обольстительные речи. – Стоит тебе захотеть, и все люди, со всем богатством, будут в твоей власти!» Но не прельщают посулы зелей-

² Чигир-звезда – старинное русское название Венеры. Стожары – Большая Медведица, Утиное гнездо – Плеяды, Кичаги – Пояс Ориона, Железное кольцо – Арктический пояс, Становище – Млечный Путь.

щика, по-прежнему чинит он лишь добро людям, целит их болести. А дьявол стоит на своем, и покою нет от него: то обернется кустом, то переползет дорогу змеей, то вещим вороном закаркает – и все про то же речь ведет. Вселился он в образ человеческий, и человек тот денно-нощно донимает ведуна. Годы шли меж тем, начал стариться добрый травознай, и с каждым седым волосом слабел дух его. «Жизнь прожита, а что нажито? Из спасибо шубы не сошьешь! – шепчет ему искуситель устами человеческими. – Хочешь, научу тебя, как воротить молодость? Покорись – и не будешь страшиться смерти!» Сделали-таки злое дело эти речи! Продав старец свою светлую душу черному духу. Воротилась к нему прежняя сила, и молодость началась сызнова, но теперь он, кроме добрых, Богом посеянных трав, распознавал и злые, разбросанные по ветру рукой недоброю. Стал волховит не одну подмогу оказывать людям, но и пагубу... И когда вновь завершился круг его жизни и предстал он пред Божиим престолом, повелел ему Господь на землю вернуться и нести свой грех до той поры, пока добро его не переполнит чашу и не перетянет она чаши зла. Суров Бог, да! И суровее всего спрашивает он с тех, кто обласкан был его милостями. Иной-то всю свою жизнь лиходействует, и нет ему за то кары никакой, словно отвратительно Господу и пальцем до него дотронуться. Но если да ежели праведник собьется с пути истинного, отдаст душу в залог злу – не будет конца Божьей немилости...

Михайла перевел дыхание и заговорил снова:

– Знай же, Егорушка, что сказание это – обо мне. Всегда рядом и спутник извечный мой, устами коего искусил и искушает меня дьявол. Ерёма! И страшное мне волею Божией определено условие: не творить добра, коли причинит оно хоть самое малейшее зло. Связаны руки мои. Поди-ка друга защити, коль это ворогу пагубу окажет!.. Скван я – оттого и воеет душа моя волком. Не пугайся, что ж – зверье порысучее тоже Божье стадо. Живу с людьми – их язык знаю, с волками по ночам бегаю – их речь знакома мне.

Он вонзил в пень острый нож, выхватил из-за пазухи пучок горько пахнущей травы.

– Смотри! – воскликнул, срывая рубаху. – Это Тирлич-трава, зелье оборотней!

Натерся Михайла травой, перекинулся через пень – и перед Егором очутился Белый Волк. Глянул горящими глазами – и сгинул в чаще лесной, лишь белым ветром меж деревьев повеяло.

Недовольно заушал на чердаке филин, но ничего не поделаешь – полетел догонять хозяина. Застонало, захохотало вокруг, вышел и Лешенька почесал спину о покляпую березу, ринулся велел за колдуном – неживую душеньку потешить, тоску вековечную избыть... И сквозь ветра шум и волчий вой донеслись до Егора слова заговорные, словно бы песня горестная:

– На море на Окияне, на острове Буяне, на полой поляне светит месяц на осиновый пень, в зелен лес, в широкий дол. Около пня ходит волк мохнатый, в зубах у него весь скот рогатый, а в лес волк не заходит, а в дол волк не забродит. Месяц-месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гада, чтоб они серого волка не брали, теплой бы с него шкуры не драли. Слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской!..

* * *

Вот и май со своей маемой миновал, июнь подошел. И русалок встретили, и Троицу проводили, и в Семик кумились, и в Духов день землю слушали: не окажет ли она, матушка, милость, не подскажет ли, где клад зарыт? Но нет уж, на роду написано мужику клад вековечно на своем поле искать: рыть его – не перерыть, копать – не перекопать. Что мужику, что коньку его доброму работы невпроворот. Хоть и говорят, что счастье не лошадь, не везет по прямой дорожке, не слушается вожжей, а и без лошади крестьянину счастья нет. Не зря же первойшая

мольба мужицкая: «Помилуй, Господи, коня и меня!» А как падет конь в страдную пору... ну, и разве что по сыну громче вопила бы, слезами исхода баба:

– Родненький ты наш, родименький Бурочко! На кого ты, кормилец, нас покинул? Ой, то-то мы, горькие, станем делать! Кто-то нам пашеньку запашет? Кто полосоньку взборонует? Ты по пашеньке соху водил легче перышка, бороздочки боронил глубокие, побежишь – не угнаться ветру буйному! Встань, подымись! Напою тебя ключевой водой, присолю тебе ржаную корочку. Заплету тебе гриву косичками, все бока твои крутые вычищу! Встань, верный друг! Седельшко по тебе тоскует, соха по тебе кручинится.

Бьется баба, вопит. Стоит мужик рядом, усы, от слез соленые, кусает. Разве только на поле помощник добрый конь? Исстари ведомо: сними хомут с потной лошади, надень на человека, которого лихоманка бьет, – и хворь как рукой снимет! Даже череп конский страшен для темной силы, недаром в деревнях их на тын вздевают. Друг-слуга пахаря и по смерти ему верно служит!

Так-то оно так, а едва подумает мужик, что лишь череп коня ему теперь подмога, и не сдержит сердца, упрек бросит знахарю:

– Э-эх, распросукин ты сын! А еще, бают, человек бывалый, из семи печей хлеб едал – не морщился! Что же ты не исцелил кормильца? Мало я тебе даров передарил? Спрячь свои бесстыжие глаза, не то вгоню их единым ударом в твою черепушку!

Опустил глаза Ерема, переморщился. Ладно, ори, орясина! Поглядим, что дальше станешь делать...

– Не меня вини, Митреюшко, – молвил тихо да смиренно. – Все силы свои отдал, все слова заговорные перебрал.

– Да что толку?!

Замотал головой Ерема:

– Знать, напущено на нас!

Страшные слова! Напустить и поветрие модно, и стрелы, и самую моровую язву, оспузлатеницу, всякую другую лихую болезнь. А Ерема все плетет из слов тенетник:

– Куроклик я слышал, куроклик! Беда, коль курица петухом поет. Чую напасть неминуемую, пролетит над Семижоновкой вскорости птица Юстрица!

Непонятное во сто крат сильней страшит.

– Юстрица?! – заробел мужик, а Ерема так и бьет словами:

На море на Окияне,
На острове на Буяне
Сидит птица-Юстрица.
Она хвалится-выхваляется,
Что все видала,
Всего много едала:
И царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Дитя в колыбели...

– Смерть... – догадался мужик, а Ерема кивнул:

– Смерть! Была, ох была беда, мимо проходила, упредить упредила, да не вняли мы!

– Чему не вняли? – разинул мужик рот да глаза, а Ереме лишь того и надобно:

– Припомни-ка, Митреюшко, что содеялось с Никифором да Степанидой, соседями твоими?

– Известное дело! – хмыкнул Митрей. – Огненный Змей к Степаниде наведалься, с чего и родила она черненькую кикимору.

– Так, так, – кивает Ерема. – А припомни свадебку их...

Митрей собрал кожу на лбу складками, но, сколь ни тужился, ничего более вспомнить не мог.

– А волчье сердце помнишь? – вкрадчиво подсказал Ерема.

– Какое сердце, прости меня Господи?!

– То самое, что молодым поперек пути бросили!

Не помнил Митрей никакого сердца, какое бросали бы под ноги Никифору со Степанидой, чтобы навлечь на них беду, но тут подскочила Ненила, бабенка лукавая, и на язык и на действие лихая, из тех, о ком говорят: «Лукавую жену в ступе не утолчешь!»

– А я помню, помню! – затараторила она. – Иссуши меня Господь, как маковое зернышко, ежели вру. Напущено было на них!

Напущено... опять это проклятое слово. Митрей содрогнулся:

– Кто ж Лиходей этот?

– Не иначе угорь-рыба ему подвластна, – нарочно уходит от ответа Ерема. – На утренней зорьке выметнется она на берег и ходит-перескакивает по росе версты на три. Смывает-сбрасывает с себя все свои лихие болести на пагубу человеку. Хитер угорь-змея водяной, злобен. На жало ему запрет наложен на веки вечные за великие прегрешения, но попади отравленная им роса на человека или коня...

– А-а! – взревел Митрей, и Ерема мысленно перекрестился: «Ну наконец-то дошло до тебя!» – Извели коня?! Лопни мои глаза, развались утроба на десять частей, если не извели!

Пожал плечами знахарь, устремил вдаль загадочный взор... заметил это Митрей, сгреб Ерему за ворот:

– Говори, что знаешь!

– Что, что... – высвободился быстроглазый Ерема. – Сам примечай. Не выл ли твой пес накануне, не рыл землю возле конюшни? Жался ли пес к тебе, Митрей, в глаза заглядывал? Может, лаял он на конька с непривычной злобой?

– Было, было! С места не встать, света белого не видать! – ретиво подтвердила Ненила, и Митрей тоже кивнул.

– Стало, по первой примете, чуял пес вскорости покойника, по второй – несчастье пророчил, по третьей – указывал, чьи дни сочтены.

– Как же это, Еремушка? Пес ведал про скорую беду, а ты нет? Или пес знатки³ прозорливее? – завела Ненила плаксиво, да Ерема цыкнул на нее:

– Будь виновником человек лихой, я б его сразу распознал, раньше всякой собаки! А тут... Кто псу первый недруг?

Задумался Митрей. Кто же? Кошка? Но Ненила уже сообразила: 1.

– Волк!

Заскреб в затылке Митрей: I

– Нет, Ерема, это уж ты хватил! Неужто волк на моего Бурка лихую болезнь напустил? Такое только в сказках бывает!

Ничего не ответил Ерема. Прижмурил черные быстрые глаза свои и завел будто бы под нос, словно и не заботясь, слышит его кто или нет:

– Завяжи, Господи, уста и язык колдуну и колдунье, ведуну и ведунье, упырю и волкодлаку, чтоб на честной народ зла не мыслили...

– Какие еще колдуны и колдуньи, упыри и волкодлаки? – заворчал было Митрей, но приметливая Ненила уже поймала взор ушлого знахаря, а был взор тот недобрый устремлен в сторону леса частого...

³ Знатка – знахарь (*старш.*).

* * *

С утра Михаила топил баньку. Ровные, сухие полешки, прогорев, легли горкой жарких углей, и воздух в баньке стал обжигающе крепок, потому что на пол не поленился Михаила набросать мягких сосновых веток, липового цвета, душицы, мяты. И в жару, в пьянящем пару, под плеск то кипящей, то студеной воды, под обжигающим хлестом веника, который колдун связал из липы и дуба, березы и можжевельника, тело свое утратил Егор, растворилось оно в облаках пара, а душа реяла в грезах невнятных, но сладостных...

Однако окончилось блаженство. Егор облокся чистыми белыми одеждами, причесал влажные, чуть ли не до плеч отросшие кудри свои белые и вслед за Михайлой, тоже переодевшимся, непривычно суровым, ступил в лесную чащу.

За дни и месяцы, проведенные у колдуна, Егор уже свыкся немного с лесом, с великанами, что денно и ночью шептались о тайнах своих. Однако ему казалось, что в той жизни его, которую он не мог вспомнить, не было такого чуда! А нынче Михаила обещал открыть ему еще новый мир – мир трав, потому что настала ночь на Ивана Купалу.

Лишь вошли они в лесную черноту, как голоса деревьев оглушили Егора. Луна плясала меж листьев. Звезды реяли в небе, а деревья слаженно пели о ночи, о соках земли, о ветвях, которые тянутся коснуться других деревьев, приклонить к ним вершины свои. Мерцало и мелькало за стволами, словно кто-то еще стремился вместе с Михайлой и Егором к заветным полянам, и, присмотревшись, узнал Егор Лешего рядом с которым мелькали белые тела зеленых дев, и волки были тут как тут, но не звали они Михаилу, а только изредка зажигали огни быстрых, внимательных взоров.

Почувяв, когда притомились колдун и его спутник, деревья вдруг подхватили их на гибкие плечи свои и ринулись вскачь. Запахло сырой, глубокой землей, и влагой подземных рек, и светом луны, прильнувшей к стволам и листьям, и лежал Егор в объятиях ветвей, и так-то легко было ему да легко!.. Но вскоре колдун и Егор простились с деревьями, которые, похоже, притомились с непривычки, и вот уже лес раздвинулся, расступился и пропустил их на широкую поляну, где в высокой траве играли разноцветные светляки, а ветер дразнил их, и травы сплетались, словно косы той девицы, что навевалась к Михаилу...

– Земля сотворена, как человек, вместо власов былие имеет.

То ли колдун произнес эти слова, почувяв мысли своего приемного сына, то ли сама Мать-сыра земля?

– Егорушка, пришел заветный час! Открою и передам я тебе все тайны свои. Назову имена и чудесные свойства трав, станешь ты волховитом-зелейщиком, и пусть эта стезя будет твоей на веки вечные. Промысел Господний неведом мне, но чую – близка моя встреча с Богом. Не ведаю, ждет меня кара или прощение, как произойдет встреча, по добру или по злобе людской. Но участь свою смиренно приму, с благодарностью, что ниспослан ты, дитя души моей, нечаянный гость. Помни, Егорушка: в каждой травинке великая сила Матери-земли. Есть благодетельные – есть и лютые коренья, лихие травы. Воистину трава чудодейная! Озелить⁴, умирить ею можно – можно и к жизни вернуть. Поможет тебе и вещьба, но помни: сказать заговорное слово надо умеючи. Душу в него вложишь, тогда услышат тебя и трава, и лихоманка, и человек. Бойся, сынок, тех, кто со слова вещего золото-серебро выдаивает. Не всякому видно, однако из тех уст змеи падают да скакухи⁵ -холоднянки! Ну а теперь поклонись в пояс травушке, шелковой муравушке, смотри да примечай, слушай да запоминай. Мать сыра земля! Благослови травы рвать, твои плоды брать!

⁴ Озелить – то есть отравить ядовитым зельем.

⁵ Скакуха – лягушка, жаба.

Словно бы прохладное прикосновение ощутил Егор на влажном от усталости и волнения лбу своем. То было прикосновение вещей тревоги. Слух уловил чей-то громкий шепот, шелест и пение. Да это голос трав! И еще раньше, чем произносил что-то колдун, Егор успевал узнать это от самих трав, которые наперебой навевали ему свои извечные песни... Видел он каждую от корешка до вершиночки, слышал, как соки земные бродят в самой малой былиночке. А колдун кружил по поляне и, чудилось, тоже пел песнь – чудесную, диковинную, бесконечную:

– Есть на свете Плакун-трава. Она всем травам мати. Когда вели Христа на распяты, плакала Божья Матерь по своему по сыну по возлюбленному, пала слеза ее на сыру землю, и от тех слез пречистых зарождалась Плакун-трава. Плакун, Плакун! Не катись твоя слеза по чистому полю, не разносись твой стон по синему морю! Будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским! А не дадут тебе покорища, утопи их в слезах, а убегут от твоего позорища, замкни их в ямы преисподние. Будь мое слово при тебе твердо и крепко век веков!

Без твоего корня, Плакун, голыми руками выкопанного, не добудешь и Разрыв-травы, у кого есть Разрыв-трава, нипочем тому все замки и запоры, разрывается на мелкие кусочки от одного его прикосновения и железо, и золото, и серебро, и ярая медь. Разрушает трава и те двери железные, за которыми схоронены клады разбойничьи. Разрежь палец, заживи в порез траву заветную – станет волшебным твое прикосновение. Ох и бережет Разрыв-траву сила нечистая! Но положи Плакун за пазуху, возьми косу да иди в полночь на поляну дикую. Как переломится коса, тут где-то и Разрыв-трава. Собери зелень скошенную, брось в ручей: вся она по воде поплывет, а ту, что против течения подымет, бери скорей!

Иванова ночь... сколь красна цветами ты, сколь волшебна былием! Не найти в иное время травы такой ни днем с огнем, ни вечером с лучинушкой.

Не любит кто тебя – дай испить Одоен-травы, не сможет от тебя до смерти отстать! Кто Измодин-траву ест, тот жить долго будет, никакая скорбь не тронет ни сердца его, ни тела. Хочешь, чтобы дом был сохранен от грозы и пожаров, – сорви Прострел-траву, в подполе держи. Она от порчи избавит, скотину от хворости сохранит. Возьми из Перенос-травы ее сердечко, войди в воду – вода расступится, и пойдешь ты по морю, будто по суху.

Склонись к лесной болотине, сорви белую Одолень-траву. Обережет она путника от всякого зла-лиходейства. Зашей ее в ладанку, повесь на тельник⁶ да не забудь заговорным словом отчитаться: «Еду я из поля в поле, в зеленые луга, в дальние места, по утренним и вечерним зорям, умываюсь медяною росой, утираюсь солнцем, облакаюсь облаками, подпоясываюсь частыми звездами. Во чистом поле растет Одолень-трава. Одолень-трава! Не я тебя породил, не я поли-дад – породила тебя Мать сыра земля, поливали тебя девки простоволосые да бабы самокрутки. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, доли низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, Одолень-трава, у ретивого сердца, во всем пути и во всей дороженьке...»

Голос колдуна становился все тише, шепот трав все громче.

Наконец Егор поднял отуманенную голову.

Он был один в лесной чаще.

– Купала на Ивана!

Купала на Ивана!

Купался Иван

Да в воду упал!..

Взвился совсем рядом девичий голос, эхом отозвался переливчатый клик:

⁶ Тельник – тельный крест.

– Иван да Марья
В реке купались.
Где Иван купался,
Берег колыхался,
Где Марья купалась,
Трава расстилалась!

Обуяло любопытство Егора, пошел он на голоса.

Под серебряно-светлым небом, под белой луной горели на широкой поляне яркие костры. В средний воткнул шест с пылающим колесом на вершине – будто солнце там прикручено! Вокруг толпились парни да девки: все красно разодетые, в венках из любистка и яркого мака, иные в травяных поясах, иные с охажками цветов. Вьются по ветру косы девичьи, подошвы разноцветные: прыгают пары через костер. Что смеху, что крику! Подбежали девки, бросили в костер сноп крапивы – зачуранье от ведьм. Искры взвились столбом, улетели в дальние выси. Не звезды ли вплелись в венки? Не солнце ли пробилось сквозь ночную темь и распалило взоры? Или это жар купальского костра разогрел, раззадорил сердца?

Смотрел Егор жадно на это огневое веселье, как вдруг рядом кто-то вскрикнул:

– Ой, подруженьки! Ярило⁷!

Обернулся Егор. В белом, как молоко, лесу стоят пред ним три девицы-красавицы. Схватились за руки, глаз с него не спускают, щебечут-перекликаются:

– Он, он!

– Яр-Хмель!

– Ясней-красней Светлояр любого раскрасавца...

– Кудри русые, одежда белая, глаза неба полуденного ясней. Так и светятся! Ой, девоньки...

– Подруженьки! Не могу...

– Боязно, девки! Бежим, пока не поздно. А ну как подойдет он к нам?

– Чего ты испугалась? Добр, ласков Ярилушка: где ступит, хлеб там взойдет, куда глянет лучами-очами, там лазоревые цветики цветут.

– Или не знаете, что он взорами сердца на любовь возжигает? Заночует ретивое, сон убежит руки захотят милого обнять, губы заболят желанного зацеловать. Долго ль до греха?

Егор стоял неподвижно. Страх... и радость смутная. Чего надобно жаркооким девицам? Может, пока не поздно, в бег удариться? Да разве отведешь взор!

Девицы тоже притихли. Так и стояли все четверо, обжигая друг дружку взглядами. И вдруг одна чуть слышно завела:

– По лесам, по лесам, я по лесам ходила,
Все цветы, все цветы, все цветы видала.
Одного, одного, одного цвета нет как нет.
Нет цвета, нет цвета, нет цвета алого,
Алого, алого, самого цвета любимого...

Она подходила ближе и ближе. У Егора дыхание перехватило. Косы ее блестели, как два лунных луча.

– Аль его, аль его красным солнышком выпекло?
Аль его, аль его частым дождичком вымыло?

⁷ Ярило, Яр-Хмель, Светлояр – древний славянский бог солнца, любви, доброты.

Аль его, аль его красны девушки сорвали?
Сорвали, сорвали, в быстру реку бросили?..

Она замерла совсем рядом – и вдруг сняла свой пышный венок, надела на Егора:

– Тебе, Светлояр!

Голова пошла кругом от запаха цветов, а девица жарко шепнула:

– Устрями на меня свой взор, Яр-Хмель! Зажги огнем своим, светлый, солнечный Ярило!

Да скорее: Купаленка – ночка маленькая...

– И меня! – ревниво вскрикнула та, что сторожилась пуще всех.

Венок ее упал на траву.

Третья сняла венок медленно, бережно повесила на ветку.

Взявшись за руки, пошли девицы хороводом вокруг ошеломленного Егора. Быстрее, быстрее, ближе, ближе! И уж не мог он различить, где которая, не мог понять, которая прекрасней, которая горячеей.

– ...Господи! – крикнул Егор, и никто на свете не мог бы объяснить сейчас, то ли призвал он неведомого, то ли слов иных, чтобы восторг свой излить, не мог сыскать.

Уткнулся лицом в землю, обнимая ее. Где красавицы? Где он сам?

Смятые венки. Смятая трава. Звезды смотрят. Тишина в лесу. За деревьями река сверкает.

– Что это?! – заломил руки Егор, бросаясь от дерева к дереву.

Ветви, поддерживая его, молчали, будто заколдованные.

– Что?..

Засветились впереди то ли светляки, то дальние костры. Нет, это свечки горели в руках юных дев, что одна за другой входили в серебряные воды Обимура, снимали венки, ставил! в них свечечки и пускали те венки по течению Тихо было, тихо, тихо-то как... Не шелхнет ветер самой легкой былиночки, не качнет дерево самым малым своим листочком. Не плеснет и волна, словно опасаясь загасить хоть одну свечу. Ведь так испокон веков гадают красные девицы в купальскую ночь о судьбе своей. У которой свеча скорее погаснет, та и умрет раньше. Ох, не любит Судьба, когда ее пытаются! Ох, и любит русская душа Судьбу пытаться...

Струилась неслышно белая река. Словно от самой луны, от самого края небес текла она, столь чиста и светла была вода ее. И, как в зеркале, отражалось в ней разноцветье венков, трепет огоньков-судеб. А вслед плыли, переливались голоса:

Уж и что это во чистом поле за травонька,

Что во чистом за муравонька?

Она день-то растет, ночь шатается,

По чисту полю расстилается.

Уж и что это во поле за цветики,

Что во чистом за лазоревые?

По зорям они цветут, в день осеются,

С шелковой травой совиваются...

– Господи! – опять воззвал Егор и, не зная, как справиться с тем, что пело в сердце и теснило грудь, ринулся с обрыва.

Он замер над рекой – и, в новом порыве счастья, медленно, медленно, медленно опустился на воду, обернувшись пышным, душистым венком. Тоненькая свечечка ровно горела меж цветов, и если бы истинному травознаю попался тот венок на глаза, узрел бы он и Плакун-траву, и Одолень, и Разрыв, и даже зимний, полуночный Нечуй-ветер.

Плыл да плыл веночек по глади Обимура, и давно уж отстали, пошли ко дну другие веночки, давно уж угасли, догорели все свечки, лишь одна свеча – жизни Егора – сияла и не меркла, суля тому, кто возжег ее, долгую, долгую жизнь, протяжную, словно песня.

Уж и что это во поле за цветики,
Что во чистом за лазоревые?
По зорям они цветут, в день осеются,
С шелковой травой совиваются.
Уж и что это у меня за мил друг,
Что за милый друг, за душа моя!
Он ни день, ни ночь мне с ума нейдет,
Мне с ума нейдет, с крепка разума...

* * *

*Управление космического надзора.
По делу о строительстве завода ш-ф-в к-ты
Ар К.Б.О.С. Труге
Глубокоуважаемый К.Б.О.С.!*

Вторично обращаю Ваше внимание на чрезмерно затянувшееся мое наказание, которое самым печальным образом сказывается на судьбе Изгнанника № 1. Не вдаваясь в анализ происходящего с ним, замечу, что такое обращение со ссылкой противоречит гуманным законам Делаварии. Тем более что Куратор № 2 регулярно поддерживает связь с Изгнанником № 2, срок ссылки которого и так вдвое короче срока моего подопечного. Это противоречит установкам Верховного Суда о содержании двух и более ссылкой в одном пространственно-временном отрезке.

С почтением – Куратор № 1

*По делу... и проч.
Не менее уважаемый Куратор № 1!*

Похоже, вы забыли, что это благодаря Вашей невнимательности Изгнанник № 1 угодил на 250 лет (вр. земное) раньше периода, назначенного ему для исчисления срока ссылки. По приговору суда он должен был очутиться в 1988 году (вр. земное). А куда он попал?! Так что Ваши разговоры по поводу делаварского гуманизма просто смешны.

Думаю, Вам пошел бы на пользу и более длительный период наказания. Однако, учитывая особые условия, в которых оказался Изгнанник № 1, приказываю войти с ним в контакт и провести необходимый инструктаж после наступления второго предвидения. Советую помнить при том о соблюдении строжайшей секретности.

Пока только советую...

С почтением – ст. инспектор надзора Ар К.Б.О.С. Труга

* * *

Плыл бы да плыл блаженный Егор неизвестно сколько, когда б не выхватил его кто-то из воды да не нахлобучил на голову.

Глянул – да это Леший! Ишь, чудо лесное, красуется в венке, еще и в зеркало вод заглянуть норовит. Не выдержал Егор, засмеялся, тут и Леший его признал.

– Смотри-ка! Как же это тебя дедушка Водяной не утащил, русалушки не заплели, не обтрепали?

Волшебство души кончилось внезапно, как и началось. Егор устало опустился наземь.

Леший, по обыкновению, сидел на пенечке, поковыривал лапоток да поглядывал на месяц. Легкое ночное облачко прислонилось было к луне, но Леший сурово прикрикнул: «Свети, свети, светило!» – и вновь белизна окутала лес.

– Я тут присел, притомившись, – обернулся он к Егору. – Послушал, что водяницы про Ульянку тараторят. Не видал еще ту, что живет у истоков обимурских? Она вроде тебя. Такая же...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.